

ТАТЬЯНА ЛЕСТЕВА

У ПАМЯТНОЙ ДОСКИ

Поднимаясь по центральной лестнице Университета им. Лесгафта, попадаешь в мемориальный зал, в то военное и блокадное время, когда и студенты, и преподаватели встали на защиту Родины. Мемориальные доски с именами погибших студентов и преподавателей... На памятной доске погибших блокадников один и тот же год, практически одни и те же даты: январь—март 1942-го, самое голодное время, самое холодное, когда морозы доходили до 40 градусов, самое беспросветное и трагическое. Я опубликовала в альманахе “На русских просторах” (№ 7–8 за 2011 г.) подлинный дневник того времени, написанный И. И. Власовым, сварщиком Кировского завода. Вспомнились строки из этого дневника: “1.1.1942 г. Все ждали, но увы, хлеба не прибавили. Что будет дальше? (...) 13.1. Сегодня дают вместо крупы муку. Всем по 400 грамм за одну декаду.

Есть небольшая новость – беседа Попкова с корреспондентом газеты, сказал, что все трудности со снабжением остались позади и что теперь будет намного лучше. Теперь будем ждать. (...) 24.1. Сегодня почти что праздник. Немного прибавили хлеба. На первую ка-ю (катеорию) 50 г. Т. е. р(абочим) и служащим 100 г, и всем остальным 50 г. Я получаю 400 г. 25.1. Воскресенье. Спали до 10 часов. После пошёл за хлебом. Одну очередь отстоял – не досталось. Занял другую. Сходил домой погрелся. Всё-таки досталось. А вообще – кошмар. Позавтракали и пошли на Неву за водой. (...) 31.1. Кончается этот м-ц, которого ждали лучшим, а он оказался худшим. Почти ничего не дали из продуктов. И холод всё время –37”.

Среди сотрудников, погибших в блокаду в институте Лесгафта, мне бросилась в глаза знакомая фамилия – Ю. А. Куняев. Однофамилец писателя Станислава Куняева? Или отец? Куняев Станислав Юрьевич... Звоню в Москву. Главный редактор журнала “Наш современник” на месте, берёт трубку. Представляюсь, задаю вопрос. “Да, это мой отец, Куняев Юрий Аркадьевич”, – отвечает он. И дальше следует рассказ об отце – очередной трагической судьбе одной из многих жертв 900-дневной блокады Ленинграда. Прошу прислать фотографии, письма. Через несколько дней получаю бандероль с письмом С. Ю. Куняева, его книгой с остроумным названием “СТАС уполномочен заявить”, а также ксерокопиями фотографий и документов. Вот и довоенная семейная фотография 1937 года.

Читаю...

Станислав Куняев родился 27 ноября 1932 года. Его мать, Александра Никитична Железнякова (1907–1985) в 1928 году была студенткой Института физкультуры, где познакомилась с отцом будущего писателя. Пока родители учились, мальчик воспитывался в Калуге у бабушки. В 1939 году после окончания Ленинградского медицинского института им. Павлова Александру Никитичну направляют на специализацию по хирургии в Новгород, в госпитале которого она провела, оперируя раненых, всю финскую войну. После окончания фин-

ской войны родители забирают сына из Калуги, привозят его в Ленинград, где в институте им. Лесгафта его отец преподавал историю. Его мать в оставленных сыну воспоминаниях пишет: "... твой отец водил нас по городу и рассказывал о его истории. Мы с тобой уже жили в 60–70 километрах от Ленинграда в Губаницкой больнице, недалеко от Кингисеппа, куда меня направили на работу. Нас там было трое врачей, все наши мужья работали в Ленинграде, летом они в отпуска приезжали к нам, зимой мы с тобой каждый выходной ездили в Ленинград. Юра всегда для тебя брал билеты в ТЮЗ*, что на Невском проспекте, где мы смотрели "Снежную королеву", "Волшебную лампу Аладдина" и другие сказки. (...) В понедельник рано утром с Балтийского вокзала Юра провожал нас в нашу Губаницкую больницу".

22 июня 1941 года немецкие самолёты начали бомбить аэродромы, расположенные неподалёку от больницы. "Мне сразу же велели немедленно явиться в военкомат, начался медосмотр мобилизованных мужчин. Я взяла тебя с собой, — продолжает воспоминания А. Н. Желязнякова, — так как боялась оставить тебя одного, а сама уже находилась в декретном отпуске. Приехав в Волосовский военкомат, я увидела тысячную толпу людей, пришедших проводить мобилизованных. На станцию Волосово один за другим совершались налёты немецких бомбардировщиков. (...) Во время обстрела весь мобилизационный пункт разбежался. Мы пешком добрались до Гатчины, и только я хотела привести тебя и себя в порядок, отмыть грязь с одежды, рук и лица, как вновь раздался вой сирен и на Гатчину обрушился бомбовый град. Я с тобой прижалась к стене дома и уже не пыталась прятаться, а по улицам мимо нас как лавина бежали наши отступающие войска. Потом всё стихло. Мы вышли с тобой к железнодорожным путям, по которым двигались открытые платформы с солдатами и орудиями — на запад, другие, с людьми для оборонных земляных работ, — к Ленинграду. Какой-то мужчина, заметив нас, подхватил тебя и посадил на платформу, а потом помог сесть и мне. К вечеру мы приехали в Ленинград. В Ленинграде всё было спокойно. (...) Через месяц, в сентябре, мы эвакуировались в Горький, к дяде Коле, папа провожал нас на Московском вокзале и очень огорчился, что мы не могли взять с собой тёплые вещи: ты был ещё мал, чтобы таскать чемоданы, а я готовилась к родам и захватила лишь простыню, спички, огарок свечи и кружку для питья. На станции Вишера мы опять попали под бомбёжку. Целый день наш поезд маневрировал в разные стороны, и только ночью мы выехали на нужный путь. (...) Дня через 3–4 мы добрались до Горького".

Эвакуировалась жена Ю. А. Куняева из Ленинграда с одним из последних эшелонов: удалось ему отправить семью, поскольку жена была на шестом месяце беременности. Александра Никитична хранила все письма, которые приходили от мужа к ней и её родным. Так, отправив семью в эвакуацию, Юрий Аркадьевич пишет брату Николаю: "Я очень просил бы Вас пристроить мою семью на один, два месяца, то есть до конца войны. (Курсив мой. — Т. Л.) Больше Гитлеру не продержаться". Какая наивность! И вместе с тем, насколько велика была уверенность у советских людей в силу и мощь Красной армии, в неизбежность победы.

А. Н. Желязнякову направили заведующей районной больницы в село Пыщуг (ныне Костромской области), в 120 километрах от железнодорожной станции Шарья, а Юрий Аркадьевич остался в Ленинграде. По зрению он не мог идти в действующую армию. 8 сентября замкнулось кольцо блокады: вечером в 18 часов 55 минут на Ленинград обрушился невиданный ранее по ударной мощи налёт вражеской авиации. Только за один заход бомбардировщиков на город было сброшено 6327 зажигательных бомб. Вспыхнули 178 пожаров, от немецкой бомбёжки загорелись Бадаевские склады. Но письма в далекий Пыщуг приходили из блокированного Ленинграда. Все письма перлюстрировались военной цензурой, возможно, поэтому Ю. А. Куняев писал их на открытках, прибегая порой к эзопову языку. 12 сентября 1941 года он сообщает семье: "Жив, здоров. С восьмого числа нас начали "забавлять" звуковыми и световыми эффектами. Обо мне не беспокойтесь. Я здоров. Ра-

* ТЮЗ — Театр юного зрителя. Театр был основан А. А. Брянцевым и открылся 23 февраля 1922 года. С 1922 по 1962 год театр занимал помещение бывшего Тенишевского училища на Моховой улице. На Невском проспекте находились театр им. А. С. Пушкина, театр Комедии и театр марионеток им. Деммени. Во всех этих театрах ставились спектакли для детей.

боты много. . . Работаю по военной подготовке Октябрьского района. Возглавляю бригаду, которая обучает рабочих и служащих штыковому делу и пр. В Ленинграде нам выдали пайки. И я, кажется, сейчас даже больше ем масла и сахара, чем до войны. По-моему, начал полнеть. До Ленинграда немецкие самолёты не допускают. Бьют их в хвост и в гриву, так что москвичам первыми пришлось познакомиться с непрошеными гостями". Письмо от 12 сентября 1941 года. В блокированном городе остаётся 2 миллиона 544 тысячи человек, в том числе около 400 тысяч детей, да в пригородных районах, то есть тоже в кольце блокады, — ещё 343 тысячи человек. Все они, как и Юрий Аркадьевич, воочию увидели эти звуковые и световые эффекты, хотя вряд ли они ими "забавлялись", да и вопреки зенитным батареям, город регулярно бомбили с немецкой пунктуальностью. А эти строки он пишет для успокоения беременной жены и девятилетнего сына, сообщая им также и про пайки, которые были установлены ленинградцам. С 1 октября рабочие и инженерно-технические работники стали получать по карточкам 400 граммов хлеба в сутки, все остальные — по 200 граммов. Резко сократилась выдача других продуктов. С пивоваренных заводов забрали 8000 тонн солода и перемололи их. На мельницах вскрыли полы и собрали всю мучную пыль. С 13 ноября 1941 года норма выдачи хлеба населению была снижена. Теперь рабочие и ИТР получали по 300 граммов хлеба, все остальные — по 150 граммов. 20 ноября и этот скудный паек был урезан. Население стало получать самую низкую норму за всё время блокады — 250 граммов на рабочую карточку и 125 граммов на все остальные. В Ленинграде начался голод. Правда, 22 ноября по льду Ладожского озера прошёл в Ленинград первый автопоезд, заработала Дорога жизни, что позволило к 25 декабря повысить нормы выдачи хлеба для иждивенцев.

Но обо всём этом семья Юрия Куняева тогда не знала. Вот "...только письма и телеграммы стали приходить всё реже, — написал в книге "СТАС уполномочен заявить" Станислав Юрьевич Куняев. — Последняя весточка — телеграмма-"молния" пришла 20 ноября, когда отец узнал, что в Пыщуге у него родилась дочь: "Поздравляю всех троих". (...) Декабрём и началом января не помечена ни одна открытка. Значит, их просто не было, потому что мать сохранила их все до самой своей смерти. А 11 февраля, о чём мы узнали много позже, отец умер в стенах своего института имени Лесгафта, куда он переехал, как и многие другие одинокие сотрудники, чтобы рядом друг с другом пережить самые тяжёлые дни блокады. Но не пережил".

Квартира 4 в доме, в котором жила семья Куняева по ул. Ленина д. 6, была разрушена при бомбёжке. 25 декабря 1941 года произошло первое повышение норм выдачи хлеба, рабочим на 100 граммов, служащим, иждивенцам и детям на 75 граммов. 24 января 1942 года ввели новые нормы снабжения хлебом. Рабочие стали получать 400 граммов, служащие — 300, иждивенцы и дети — 250. До следующего увеличения нормы хлеба 11 февраля 1942 года Юрий Аркадьевич Куняев, которому было всего 35 лет, не дожил. Похоронен он в братской могиле на Пискаревском кладбище.

Но семья о его смерти узнала лишь в 1943 году. Они получили письмо от Марьи Власьевны Лейкиной, заведующей кафедрой, которая пережила блокаду в Ленинграде. Её письмо восстанавливает детали блокадной жизни преподавателей-лесгафтовцев.

"Ваш муж умер в институте. Вы, вероятно, слышали, какую тяжёлую зиму мы пережили. Мы все голодали так, как никто не может себе представить. Многие — даже преподаватели нашего института — проявляли себя как голодные люди. Юрий Аркадьевич относился к той немногочисленной группе людей, которая выдержанно переносила ужас голода, холода, невзгоды блокады. Он так же, как и другие, бывал ежедневно в столовой института и ждал тарелку супа без суеты и нетерпения, совсем не так, как многие другие. Его молчаливая скромность осталась с ним до конца его дней. Он много работал, как все мы. Женщины преподавательницы и студентки шли в госпитали сверх учебной работы в институте, а мужской состав был брошен для обучения рукопашному бою резервов Красной Армии. Юрий Аркадьевич по несколько часов проводил на морозном воздухе, вся работа на голосе (команды). Сколько людей им обучено, не знаю. Вероятно, много. Достаточно сказать, что в списке представленных к награде медалью "За оборону Ленинграда" есть его имя и указано: "...Был ответственным за подготовку свыше 300 человек Октябрьского района".

Вероятно, такая трата энергии, постоянное охлаждение, нервные потрясения сделали своё дело. Никто, похоже, и не думал, что Ю. А. страдает от голода, больше привлекали внимание ведущие себя по-другому. Да, кроме того, дорогой товарищ, мы все, по-моему, были какими-то особенными, скажу просто, мало осознающими, что происходит кругом, мы, пожалуй, многие друг друга и не замечали. Вам это как врачу должно быть понятно.

Юрий Аркадьевич внешне не страдал, двигался ежедневно, загруженный работой, успевал читать и писать, как всегда — и этому не изменил.

Накануне кончины он сидел за столиком в читальном зале против меня, что-то усердно выписывал из книги. Оторвавшись от книги, обратился ко мне и поделился удачей, что ему удалось достать (обменять) крупу и масло. Я несколько удивилась, что он заговорил о продуктах, потому что, как уже выше указала, он, не в пример другим, ничем не выдавал своего голодания”.

Прочитав эту фразу про масло и крупу, уже зная, что в эту ночь его не станет, я подумала, а был ли этот обмен? Может быть, это были просто пищевые галлюцинации голодающего человека. Но продолжу письмо: “Я порадовалась, как может дружески настроенный товарищ радоваться “удаче”. А на следующий день мне сказали, что его не стало. Ночью или под утро — не знаю. Но его такой внезапный уход от нас на всех очень повлиял, и многие, не думавшие о смерти от голодания, содрогнулись. В том числе и я, принадлежавшие (так в тексте. — Т. Л.), подобно Ю. А., к выдержанным людям. Я забеспокоилась о своём муже, потому что зима уносила главным образом мужчин”.

Слова Марии Власьевны о повышенной смертности среди мужчин подтверждает и статистика того времени. Зима 1942 года — это трагическое время массового ухода ленинградцев из жизни из-за голода и холода: в первой декаде февраля умерло 36606 человек (мужчин — 65,8 процента), во второй — 34852 (мужчин — 58,9 процента). Самая высокая смертность была в январе 1942 года — за один месяц умерло 96751 человек.

“Вот и всё, дорогая, что я вам могу сказать. Простите меня, если я сделала вам больно. Но Вы в письме хотели узнать хоть что-то о его смерти. Вам, конечно, тяжело, но у Вас есть дети, это Вам радость, Ваше будущее. Война принесла столько горя каждому из нас, у Вас есть хорошая благородная специальность, желаю от всей души Вам работать так, как работал Ваш муж. Вы можете гордиться — он был прекрасный, скромный советский научный сотрудник, глубокий в своих исканиях и нетускло проведший свой жизненный путь. Не надо его оплакивать, такие в памяти живут долго и светло, о таких можно говорить, ставя в пример другим”.

Письмо, написанное 15 октября 1943 года, за три месяца до прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года, заканчивалось фиолетовым штампом: “Просмотрено военной цензурой 09914”. Письмо дошло до адресатов, память о выдержанном и скромном научном работнике, мужественно переносившем тяготы блокады, сохраняется до наших дней, его имя увековечено на мраморной памятной доске в институте, где он работал, где он встретил свою спутницу жизни и где он ушёл из жизни в блокаду, оставаясь до последнего дня на посту.

М. В. Лейкина написала жене Куняева, чтобы та не оплакивала мужа, а гордилась им. Трудно сказать, выполнила ли этот завет Александра Никитична Железнякова, но вот сын исполнить его не смог. В одном из номеров “Лесгафтовца” попалась мне на глаза заметка, в которой говорилось, что у мемориальной доски с именами погибших в блокаду стоял и не скрывал своих слез невысокого роста мужчина средних лет. Это был сын погибшего Юрия Аркадьевича Куняева. Он сфотографировался вместе с председателем совета ветеранов Е. А. Лосиным у памятной доски. Сын пришёл поклониться отцу.

Обращаю внимание на то, что в письме М. В. Лейкиной Юрий Аркадьевич был представлен к награждению медалью “За оборону Ленинграда”, интересуюсь судьбой медали, успел ли отец получить её, сохранилась ли она в семье. Станислав Юрьевич рассказывает о поиске награды. На его запрос в Центральный архив Санкт-Петербурга пришло подтверждение, что в решении Исполкома Ленгорсовета от 15 сентября 1944 года “...значится Куняев Юрий Аркадьевич, 1907 года рождения, старший преподаватель, аспирант Института физической культуры имени П. Ф. Лесгафта”, который был ответственным за подготовку к воинской службе “... с 12 июля 1941 года по 15 февраля 1942 года в частях армии народного ополчения и её резервах, в частях

Красной Армии, в подразделениях Всеобуча работников Октябрьского РК ВКП(б), ВЛКСМ, работников Смольного”. Решение о награждении было принято посмертно, награда не была вручена, так как жена Ю. А. Куняева с детьми после эвакуации в Ленинград не вернулась, а уехала к родным в освобождённую Калугу. Станислав Юрьевич обращается в Министерство обороны с запросом, в котором задаёт вопрос: “Возможно ли эту награду, которой был удостоен мой отец, передать в годовщину Великой Победы в нашу семью, чтобы его дети, внуки и правнуки учились у защитника Ленинграда патриотизму и честному выполнению долга перед Отечеством”.

Летом 2010 года медаль как святая реликвия прошедшей войны и негасимая память об отце вернулась в семью Куняева.

Память... Как много значит это слово. Прошло почти 70 лет со дня начала Великой Отечественной войны, но до сих пор следопыты ищут могилы, уснамливают имена погибших солдат, внуки и правнуки разыскивают документы о погибших и пропавших без вести дедах и прадедах. Память... Как созвучны этому слову стихи члена Союза писателей России, поэта Станислава Куняева:

*Непонятно, как можно покинуть
эту землю и эту страну,
душу вывернуть, память отринуть
и любовь позабыть, и войну.*

Поэт прав: войну нельзя позабыть так же, как свою первую любовь. И пока жива память о погибших, жив народ и будет жива Родина.

В продолжение темы публикуем рассказ С. Ю. Куняева.

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Увидев из автобуса несколько одноэтажных строений грязно-жёлтого цвета, стоящих чуть в стороне от шоссе, Сергей понял, что они приехали. Он тронул мать за плечо:

— Смотри! Похоже, что наша больница... Выходим.

Шофёр остановил автобус. Они прошли сквозь ряд тёмных, полузасохших елей во двор больницы. Сергей посмотрел на мать. Худенькая, жалкая, в старом плащике-болонье, в какой-то нелепой соломенной шляпке, она медленно оглядывала территорию.

— Серёжа, вот здесь был роддом, а здесь, — она показала на почерневший от времени барак, — моё хирургическое отделение. А это — детское. А вот и дом, где мы жили. Парадное наше... Крыльцо-то совсем развалилось.

Сергей оглядел ветхое деревянное здание, покрашенное охрой, которой до войны красили станционные постройки. Ровно тридцать лет тому назад из этой двери — во время очередной бомбёжки — они с матерью побежали вдоль железной дороги в Ленинград и теперь, по прошествии целой жизни, вернулись поглядеть некогда родные места.

Сергей подумал про себя, что если бы сейчас подошла какая-нибудь санитарка, знавшая их в те годы, она ни за что не признала бы в худенькой старушке и в сорокалетнем, уже потрёпанном жизнью мужчине цветущую молодую женщину и белобрысого мальчика в коротких штанишках с помочами.

Тишина и запустение стояли вокруг. Немытые окна, забитые досками двери, лопухи и подорожники, окружившие парадное, – всё говорило о том, что здесь уже никто не живёт и что со дня на день сюда придёт бульдозер и снесёт ветхий, отработавший свой век дом, потому что когда люди покидают жильё, то его нужно поскорее сломать, чтобы не печалило оно своей мертвенностью человеческий взор.

– А вот это парадное Марфы Фёдоровны, а здесь жила Вера Константиновна... В этом садике мы по вечерам пили чай из самовара... С клубникой. Ты помнишь?

Сергей глядел на поросший бурьяном кусочек земли под окнами, огороженный полусгнившим штакетником, и ему казалось, что он помнит, как три молодые врачихи, закончив свои обходы и дежурства, выходят каждая из своего парадного в сад – кто с кипящим самоваром, кто с фарфоровым чайником, кто с клубничным вареньем – и в тени чёрных елок садятся пить чай...

Матери уже за семьдесят. От двухчасовой езды в душном автобусе она устала, её лицо осунулось, и внезапная жалость к ней обожгла Сергея. “И зачем я её сюда привёз? Легко ей, что ли, на всё это глядеть и всё вспоминать?..”

– Ну, что, мама, пойдём на станцию. Поехали обратно...

– Погоди, сынок, погоди...

Мать внимательно глядела на тёмные ели, которые весной сорок первого года цвели алым цветом, и вспоминала слова старой санитарки Полины:

– Ох, не к добру, Александра Никитична, ёлки-то зацвели. Много крови будет!

Скрипнула дверь, и неожиданно из одного, казалось бы, нежилого парадного вышла молодая беременная женщина. Она удивленно поглядела на старуху и на мужчину, держащего её за локоть.

– Вы кого-нибудь тут ищите?

– Нет, никого. А вы тут до войны не жили? – спросил Сергей, хотя было ясно, что до войны этой молоденькой женщины ещё и на свете не было.

– Да что вы! Я сюда только второй год приезжаю. К сестре. Сестра сторожикой работает. Скоро порушат больницу. Её уже третий год как на станцию перевели. А в бараках тунейдцы живут, кто за сто первый километр выслан...

Она была белобрысой, с лицом, покрытым крупными пигментными пятнами, как это часто бывает у беременных.

Сергей подошёл к своему парадному, дёрнул дверную ручку. Но дверь, заколоченная гвоздями, не подалась, покосившееся крыльцо заскрипело.

– Сынок, не трагай, а то повалится всё.

Но ему захотелось заглянуть: что там, за дверью? Вроде там был коридорчик, печь, выложенная белым кафелем, два окна – одно во двор, другое – в сад. Он дёрнул дверь ещё сильнее – подгнившие столбы крыльца дрогнули, крыша покачнулась.

– Серёжа, не надо... Пошли отсюда!

В материнском голосе прозвучало нечто такое, что он сошёл со ступенок и подумал: зачем заглядывать внутрь? За тридцать с лишним лет всё там, наверное, перестраивалось много раз. Ничего не осталось, кроме пыли и тлена.

Прежде чем выйти на дорогу, ведущую к станции, они медленно обошли территорию бывшей больницы.

– Видишь круглый наличник? – мать показала на простенок, заколоченный досками. – Там было большое окно – моя операционная. Когда я делала операции, ты вставал на завалинку и глядел, а моя хирургическая сестра Аня тебя всё время прогоняла, чтобы я не отвлекалась...

Они прошли по двору, заросшему муравой, аптекарской ромашкой, подорожником. Подорожник уже отцвёл, и его жилистые белёсые стебли высоко торчали из травы. Сергей вспомнил, как на каждое воскресенье к ним в больницу из Ленинграда приезжал отец. Они уединялись с ним в дальний угол двора, где подорожник рос особенно густо, и начинали игру, придуманную отцом после чтения “Тараса Бульбы”.

Каждый из них подбирал себе стебель подорожника помощнее, давал ему имя – и начинался поединок. Сначала отец подставлял свой стебелёк с пышным султаном – и Сергей с размаху сверху вниз ударял его своим “воином”. Потом право удара передавалось отцу. Чья голова слетит первой, кто победит – Кукубенко или польский полковник? Чья кровь, как вино из разбитого драгоценного сосуда, прольётся на землю? Вот Кукубенко уже срубил голову шляхтичу, вот он, измочаленный, каким-то чудом – главное знать, как ударить! – сносит с плеч башку родовитому хорунжему, но из ворот древней крепости вылетает на белом коне красавец Андрей, и голова Кукубенко летит в заросли травы-муравы. А кто же справится с витязем Андреем, этим прекрасным безумцем и предателем веры и Сечи? Ну, конечно, только старый Тарас... Маленький белобрысый Серёжа ползает в траве, ищет самый жилистый, самый застарелый стебель и, крича от восторга, бежит к отцу продолжать поединок не на жизнь, а на смерть, между Тарасом и Андреем, между отцом и сыном...

– Юра! Серёжа! – раздаётся с крыльца голос матери. – Идите обедать!

...Мать с сыном вышли на шоссе. Когда-то бульжное, теперь оно было покрыто асфальтом, и мимо них то и дело пронеслись самосвалы, рейсовые автобусы, блистающие “жигули”. До станции было километра два.

– Мама! Давай в автобус сядем!

– Да нет, сынок, пройдемся потихоньку.

Они шли вдоль дороги, по которой в то лето каждое воскресенье встречали отца. Мальчик ехал впереди на трёхколесном велосипеде, а женщина в ярком ситцевом платье и в белых теннисных туфлях шла следом, время от времени сходила на обочину, рвала васильки и ромашки, присаживалась в траву и, разводя её ладонями, собирала крупные и сладкие ягоды земляники.

– Ма-ма-а! Где-е ты-ы? – слышалось из-за поворота. Ребёнок доехал до заброшенного хутора и со смешанным чувством любопытства и страха разглядывал сарай, сложенный из кусков грубо обработанного серого гранита, которого столь много было разбросано по окрестным полям. Из этого же гранита на хуторе был сложен сруб бездонного, как казалось мальчику, круглого колодца с громадным воротом. Возле колодца ржавой грудой лежала колодезная цепь. Перед домом росло несколько яблонь, заросших бурьяном с той поры, когда люди уехали отсюда неведомо куда. А если с трудом приоткрыть тяжёлую скрипучую дверь сарая, то иногда можно было увидеть во тьме зелёные глаза одичавших за два года кошек и услышать их яростное шипенье. Женщина и сама не любила задерживаться возле хутора. На века были построены и каменный колодец, и гранитный сарай, и добротный дом с закопченными окнами, но, внезапно опустев, они навевали на неё страх и мысль о непрочности людского счастья на земле, и она каждый раз убыстряла шаг, когда проходила мимо этого опустевшего гнезда. Тем более что они всегда спешили навстречу мужу и отцу, который уже сошёл с паровика и торопился к ним по большаку... Опять чего-нибудь купил не то, бестолковый. В прошлый раз положил в авоську торт, а сверху насыпал картошки!

Дорога сбегала в низину и возле ручья, вся в зарослях ольхи, поворачивала вправо, и чаще всего они встречались на этом повороте. Мальчик первый замечал отца. Отец обычно шёл вдоль большака по тропинке – в белой рубашке и белых брюках, светловолосый, коренастый. В руках у него была авоська, наверное, с тортом и молодой картошкой.

Мать вспомнила о том, как двадцать второго июня, когда она оперировала гнойный аппендицит у жителя из соседней деревни, в операционную вбежала санитарка Полина и закричала:

– Александра Никитична, война!

С того дня каждое утро её отвозили на бричке на станцию в военкомат, где началась мобилизация. Сотни мужчин сидели в станционном парке возле здания военкомата. Она ощупывала их, простукивала, выслушивала, спрашивала для того, чтобы написать в мобилизационном листке одно слово: “годен”. Последнюю неделю перед уходом в Ленинград она уже не возвращалась домой, спала в военкомате на изношенном клеёнчатом диване, в обнимку с сыном. А когда над станцией появлялись тёмные силуэты “юнкеров” и начинали выть сирены, она хватала сына за руку и бежала сквозь человеческие крики, полосы дыма и вспышки зениток за водокачку в берёзовую рощу. А во время первого налёта, когда в панике она вместе со всеми бросилась че-

рез пути на ту сторону станции, ей пришлось пролезать под платформами, на которых стояли орудия и танки. Стараясь выйти из-под бомбёжки, тяжёлые составы с грохотом уходили со станции, и она, таща за собой сына, металась между ними.

... Они вошли в станционный посёлок, выстроенный из белого силикатного кирпича. Чем ближе подходили к станции, тем чаще сын спрашивал у матери: а где же стоял военкомат? Где был призывной пункт? В какую берёзовую рощу спрятались они во время бомбёжек? Мать крутила головой, смотрела по сторонам, ничего не узнавая.

— Наверное, всё тут разбомблено было. Домик деревянный я, вроде, помню. А вокзал совсем другой... Устала я, сынок. Давай поедим. У меня с собой пироги с ливером.

Они зашли в привокзальное кафе. Буфетчица выдала им котлеты с макаронами и по стакану какао.

— Красивое на вас платье, — сказал Сергей, глядя на уже немолодую крашенную буфетчицу, которая в ответ улыбнулась ртом, полным золотых коронок:

— Ах, спасибо. А то вот с утра надела, и ещё никто не заметил! Хотите салат из помидорчиков? Хорошие помидоры, только что получили.

Когда он принёс на стол еду, мать упрекнула его:

— Куда ты всего набрал? У меня и пирогов целая сумка, и курицы кусок.

— Ну вот, приехала, как в голодное время, со своими пирогами, — с досадой буркнул он, но, подняв голову и увидев её осунувшееся лицо и морщины, смешную соломенную шляпку с искусственными фиалками на тулье, устыдился своей досады: “Дурак я дурак, ведь она для меня всё это привезла, хоть чем-то порадовать хотела...”

Они пересекли пыльную площадь, взяли билеты на электричку и вышли на перрон. Мягко трубя, подползла электричка. Перед тем как сесть, мать и сын в последний раз посмотрели на станционную площадь. Возле ларька несколько мужиков пили пиво. Посреди площади, разомлев от жары, лежала в пыли чёрная собака. Электричка медленно тронулась, и мать, глядя в окно, сказала:

— Хорошо вспоминать хорошее, а плохое и вспоминать неохота.

Этим же вечером сын провожал её из Ленинграда. Днём они съездили на Пискарёвское кладбище, зашли в цветочный магазин. Мать выбрала десяток красных гвоздик, и когда сын пошёл заплатить за цветы в кассу, она остановила его:

— Не надо. Я сама, я для того сюда и приехала.

Они прошли сквозь арку на кладбище, и у первой же громадной гранитной плиты, на которой была выбита цифра “1942”, мать остановилась и положила цветы на камень.

— Сорок второй год... Так мне и сказали, что отец погиб в феврале сорок второго. Может быть, и лежит под этим камнем, кто знает?

Они пошли по красной кирпичной дорожке в глубь кладбища, и казалось, что плитам с цифрами “1942” конца не будет...

С кладбища отправились на вокзал. “Красная стрела” уже стояла на перроне. Сын трижды поцеловал мать, а она всё говорила ему:

— Ну, иди, иди, не дожидайся, пока поезд тронется, а то на метро опоздаешь.

Он глядел на неё, сухонькую, маленькую, усталую старушку, и снова в памяти вставала довоенная дорога, он — белобрысый мальчик на трёхколесном велосипеде, она — красивая сильная женщина с короткой юношеской стрижкой, в белом полотняном платье, в теннисных туфлях на упругих молодых ногах...

Мелкий гравий шуршит под её пружинистыми шагами и под шинами его велосипеда. Справа и слева по обочинам дороги сверкают в траве белые ромашки и синие колокольчики, а если развести траву ладонями, то в её влажной зелёной глубине можно увидеть крупные алые ягоды. В синем небе — ни облачка. Над головой — полуденное солнце. Сухой ветер гуляет над полем, заросшим красным клевером, и они, перекликаясь друг с другом, спешат к тёмным ольховым зарослям навстречу повороту, откуда должен показаться отец...